# Обыватели

# Антон Павлович Чехов

Десятый час утра. Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный когда‑то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов, сидит в своей квартире у настежь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степанычем Финкс. Оба высунули свои головы из окна и глядят в сторону на ворота, около которых на лавочке сидит домохозяин Ляшкевского, пухленький обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислыми потными щечками. Обыватель о чем‑то глубоко задумался и рассеянно ковыряет палочкой носок своего сапога.

— Удивительный, я вам скажу, народ! — ворчит Ляшкевский, со злобой глядя на обывателя. — Вот как сел на лавочку, так и будет, проклятый, сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно ничего не делают, дармоеды и тунеядцы! Добро бы, у тебя, подлеца этакого, в банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь ни шиша за душой нет, ешь чужое, задолжал кругом, семью голодом моришь, шут бы тебя взял! Просто, вы не поверите, Франц Степаныч, иной раз такая злость берет, что выскочил бы из окна и отхлестал бы его, каналью, плетью. Ну, отчего ты не работаешь? Зачем сидишь?

Обыватель равнодушно взглядывает на Ляшкевского, хочет что‑то ответить, но не может; зной и лень парализовали его разговорную способность... Лениво зевнув, он крестит рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби.

— Нельзя строго судить, мой почтеннейший, — вздыхает Финкс, вытирая платком свою большую лысую голову. — Войдите тоже в их положение: дела теперь тихие, всюду безработица, неурожаи, в торговле застой.

— А, боже мой, как вы рассуждаете! — возмущается Ляшкевский, сердито запахивая полы халата. — Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у себя дома не работает, чёрт бы его подрал! Послушай, разве у тебя дома нет работы? Погляди, скот! Крыльцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил. Взял бы да и починил всё это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегает то за водой, то помои выносит. Отчего бы тебе, подлецу, вместо нее не сбегать? Да вы имейте еще в виду, Франц Степаныч, что у него десятины три сада и огород при доме, у него есть помещение для свиней и птицы, но всё это пропадает даром, без всякой пользы. Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук, а этот мерзавец покупает всё это на базаре.

— Русский человек, ничего не поделаешь! — говорит Финкс, снисходительно улыбаясь. — У русского кровь такая... Очень, очень ленивые люди! Если б всё это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города.

Обыватель в синих панталонах подзывает к себе девчонку с решетом, покупает у нее на копейку подсолнухов и начинает «пускать».

— Пся крев! — злится Ляшкевский. — Вот только этим и занимаются! Подсолнухи пускают да о политике говорят! О, чёрт подери!

Злобно оглядывая синие панталоны, Ляшкевский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах его выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог; под конец мешочки под его глазами надуваются, он оставляет русских подлецов, мерзавцев и каналий в покое и, тараща глаза, кашляя от напряжения, начинает сыпать польскими ругательствами:

— Лайдаки, пся крев! Цоб их дьябли везли!

Обыватель отлично слышит эту брань, но, судя по выражению его помятой фигурки, она не трогает его. По‑видимому, он давно уже привык к ней, как к жужжанью мух, и находит излишним протестовать. Финксу в каждый визит приходится слушать на тему о ленивых, никуда не годных обывателях и каждый раз аккуратно одно и то же.

— Однако... мне пора! — говорит он, вспомнив, что ему некогда. — Прощайте!

— Куда же вы?

— Я ведь к вам только на минутку зашел. В женской гимназии в подвале стена треснула, так меня просили прийти поскорее посмотреть. Надо сходить.

— Гм... А я велел Варваре самовар поставить! — удивляется Ляшкевский. — Погодите, напьемся чаю, тогда и пойдете.

Финкс послушно кладет шляпу на стол и остается пить чай. За чаем Ляшкевский доказывает, что обыватели погибли уже безвозвратно, что есть только один выход — забрать их всех огулом и под строгим конвоем отправить на казенные работы.

— Да помилуйте! — горячится он. — Вы спросите, чем живет вот этот гусь, что сидит! Он отдает мне свой дом под квартиру за семь рублей в месяц да на именины ходит — только этим и сыт, прохвост, цоб его дьябли везли! нет ни заработков, ни доходов. Мало того, что они лентяи и дармоеды, но еще и мошенники. То и дело берут из городского банка деньги, а куда девают их? Пустятся в какую‑нибудь аферу вроде отправки быков в Москву или устройства маслобойни по новому способу, а чтобы быков в Москву гнать или масло бить, надо иметь голову на плечах, ну, а у этих каналий на плечах тыквы. Конечно, всякая афера к чёрту... Потратят зря деньги, запутаются и показывают потом банку кукиши. Что с них возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого — давно уже всё съедено и пропито. Девять десятых измошенничались, подлецы! Задолжать и не отдать — это у них правило. Городской банк трещит по их милости!

— А я вчера у Егорова был, — перебивает Финкс поляка, желая переменить разговор. — Представьте, выиграл у него в пикет шесть с полтиной.

— Я за пикет остался, кажется, вам что‑то должен, — вспоминает Ляшкевский. — Надо бы отыграться. Не хотите ли одну партийку?

— Разве только одну, — мнется Финкс. — Мне ведь в гимназию спешить нужно.

Ляшкевский и Финкс садятся у открытого окна и начинают партию в пикет. Обыватель в синих панталонах аппетитно потягивается, и со всего его тела сыплется на землю скорлупа подсолнухов. В это время из ворот vis‑a‑vis показывается другой обыватель, в желто‑серой помятой коломенке и с длинной бородой. Он ласково щурит глаза на синие панталоны и кричит:

— С добрым утром, Семен Николаич! Имею честь вас с четвергом поздравить!

— И вас также, Капитон Петрович!

— Пожалуйте ко мне на лавочку! У меня холодок!

Синие панталоны кряхтя поднимаются и, переваливаясь с боку на бок, как утка, идут через улицу.

— Терц‑мажор... — бормочет Ляшкевский. — Карты от дамы... пять и пятнадцать... О политике, подлецы, говорят... Слышите? Про Англию начали... У меня шесть червей.

— У меня семь пик. Карты мои.

— Да, карты ваши. Слышите? Биконсфильда ругают. Того не знают, свиньи, что Биконсфильд давно уже умер. Значит, у меня двадцать девять... Вам ходить...

— Восемь... девять... десять... Да, удивительный народ эти русские! Одиннадцать... двенадцать. Русская инертность — единственная на всем земном шаре.

— Тридцать... тридцать один. Взять бы, знаете, хорошую плетку, выйти да и показать им Биконсфильда. Ишь ведь как языками брешут! Брехать легче, чем работать. Стало быть, вы даму треф сбросили, а я‑то и не сообразил.

— Тринадцать... четырнадцать... Невыносимо жарко! Каким надо быть чугуном, чтобы сидеть в такую жару на лавочке на припеке! Пятнадцать.

За первой партией следует вторая, за второй третья... Финкс проигрывает, мало‑помалу входит в картежный азарт и забывает про треснувшие стены гимназического подвала. Ляшкевский играет и то и дело поглядывает на обывателей. Ему видно, как те, усладивши друг друга беседой, идут в открытые ворота, проходят через грязный двор и садятся в жидкой тени под осиной. В первом часу жирная кухарка с бурыми икрами расстилает перед ними что‑то вроде детской простыни с коричневыми пятнами и подает обед. Они едят деревянными ложками, отмахиваются от мух и продолжают о чем‑то говорить.

— Это чёрт знает что такое! — возмущается Ляшкевский. — Я очень рад, что у меня нет ружья или револьвера, иначе бы я стрелял в этих кляч. У меня четыре валета — четырнадцать... Карты ваши... Ей‑богу, у меня даже судороги в икрах делаются. Не могу равнодушно видеть этих архаровцев!

— Вы не волнуйтесь, вам вредно.

— Да помилуйте, тут камень выйдет из терпения!

Накушавшись, обыватель в синих панталонах, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь от лени и излишней сытости, идет через улицу к себе и в бессилии опускается на свою лавочку. Он борется с дремотой и комарами и поглядывает вокруг себя с таким унынием, точно с минуты на минуту ожидает своей кончины. Его беспомощный вид окончательно выводит Ляшкевского из терпения. Поляк высовывается из окна и, брызжа пеной, кричит ему:

— Натрескался? А, мамочка! Прелесть! Налопался и теперь не знает, куда девать свой животик! Уйди ты, проклятый, с моих глаз! Провались!

Обыватель кисло взглядывает на него и вместо ответа шевелит только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназист с ранцем на спине. Остановив его, обыватель долго думает, о чем бы спросить, и спрашивает:

— Ну, ну что?

— Ничего.

— Как же так ничего?

— Да так‑таки и ничего.

— Гм... А какая наука самая трудная?

— Смотря для кого, — пожимает плечами гимназист.

— Так... А... как будет по‑латынски дерево?

— Арбор.

— Ага... И всё ведь это надо знать! — вздыхают синие панталоны. — Во всё вникать нужно... Дела, дела! Мамашенька здоровы?

— Ничего, благодарю вас.

— Так... Ну, ступай.

Проиграв два рубля, Финкс вспоминает про гимназию и приходит в ужас.

— Батюшки, уже три часа! — восклицает он. — Как, однако, я у вас засиделся! Прощайте, побегу!

— Пообедайте уж заодно у меня, тогда идите, — говорит Ляшкевский. — Успеете.

Финкс остается, но с условием, что обед будет продолжаться не долее десяти минут. Пообедав же, он минут пять сидит на диване и думает о треснувшей стене, потом решительно кладет голову на подушку и оглашает комнату пронзительным носовым свистом. Пока он спит, Ляшкевский, не признающий послеобеденного сна, сидит у окошка, смотрит на дремлющего обывателя и брюзжит:

— У, пся крев! И как это ты не околеешь от лени!

Ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а одни только растительные процессы... Гадость! Тьфу!

В шесть часов просыпается Финкс.

— Поздно уж в гимназию, — говорит он, потягиваясь. — Придется завтра сходить, а теперь... отыграться, что ли? Давайте еще одну партию...

Проводив в десятом часу вечера гостя, Ляшкевский долго глядит ему вслед и говорит:

— Прроклятый, целый день просидел без всякого дела... Только жалованье даром получают, черт бы их побрал... Немецкая свинья...

Он выглядывает в окно, но обывателя уже нет: ушел спать. Ворчать не на кого, и он впервые за весь день закрывает свой рот, но проходит минут десять, он не выдерживает охватывающей его тоски и начинает ворчать, толкая старое, ошарпанное кресло:

— Только место занимаешь, старая дрянь! Давно бы пора тебя сжечь, да все забываю приказать порубить. Безобразие!

А ложась спать, он нажимает ладонью пружину матраца, морщится и брюзжит:

— Про‑кля‑тая пружина! Она всю ночь будет мне бок резать. Завтра же велю распороть матрац и выбросить тебя, негодная рухлядь.

Засыпает он к полночи, и снится ему, что он обливает кипятком обывателей, Финкса, старое кресло...